

---

---

## ПРОЛОГ

Он пришел, когда февраль под Красноярском сходил с ума. Штормовой ветер пригибал к земле полувековые кедры и поднимал до их макушек стену из снега, пробраться сквозь которую не могли ни люди, ни машины. Полуденное солнце стояло высоко, но свет не излучало. Казалось, это небесный дервиш, не выпросив милостыни на небесах, спускался вниз, чтобы попросить на жизнь у тех, кто имеет в груди человеческое сердце. Он освещал себе путь пучком горящей соломы, и толку от этого света не было ни ему, заплутавшему, ни тем, кто умирал от голода и болезней внизу.

Богам не дано понять смертных. Они так высоко, что треск мечей или трещотки попрошаек — неперменные атрибуты земной жизни — там просто не слышны. Ты человек, значит, смертен. Значит, низок, а потому на земле тебе место. И этот бродячий оборванец, уверяющий всех, что он светило, — не более чем плут. Солнце не просит подаяний, оно само вольно распоряжаться, сколько давать, кому и зачем. Стало быть, пошел вон.

Барак, пропитанный запахом только что наколотых поленьев и чуть подгоревших валенок, не стиранных, отопревших портянок, грязных носков, дешевого чая, похожего скорее на лечебный сбор — горького и неприятного.

— У-у-у-ааа, — стонал испуганный собственной силой ветер.

— Хрясть, кррру... — вторили ему подламывающиеся под его натиском деревья.

Он пришел, когда в бараках раздавался выворачивающий душу кашель, грязная брань и, где-то в углу, за пеленой пара от дымки не сгораемых в печках сырых дров, — молитва.

— Господи... во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой...

— ...пишет, что сын на ноги встал. Встал, пишет, постоял и снова сел. Секунд с десять постоял.

— Откуда ты знаешь, что секунд десять? Она так пишет?

— А сколько же ему стоять? Дитя малое. Хоть и мужик.

«Даешь пять кубометров на рыло», — грустно, без восклицательного знака призывает лозунг на одном из бревен потолка. Он написан смоляною кисточкой, покрыт грязью, и прочесть его можно, лишь оказавшись на верхних нарах, не сводя взгляда с висящего над головой наката. Надпись давняя, лет тридцать ей, не меньше, а может быть, и все сорок. За нею, в порядке, предусмотренном расположением бревен, следуют другие отметки, выписанные руками тех, кто прибыл после того, для которого норма в пять кубов была недостижимой. Эх, если бы сейчас, да по пять... На каждое рыло.

«Елец, 1982 год, Костян».

«Может, ты и елец, Костян, да только здесь ты труп. Гарик, 1984».

«Елец не Елец, а обоим вам давно п...ц. Фара, 1997».  
И чуть ниже:

«Фара, а ты сам-то далеко от них ушел?»

Свежая надпись. С пяток лет ей, никак не больше.

Не больше, потому что меньше здесь никто не находился. Восемь, десять, двенадцать. И сейчас в бараке есть те, кто был свидетелем, как Гарик предсказывал Костяну из Ельца его будущее. На самом деле предугадать его было нетрудно, Фара был прав, и в этом шестом бараке за последние двадцать лет лишь двое встретились здесь дважды. Правда, с перерывом в семь лет, но встретились. О них теперь говорят как о старожилах. Это хорошее определение — старожил. Оно навевает несбыточные надежды и помогает выходить в утро. Когда хочется увидеть красное солнце заката, а туберкулезный кашель и рвота от язвы уверяют в том, что скоро тебя вынесут в ледник и, если в течение месяца за тобой не придут те, кто по всем канонам человеческой памяти должен знать, где ты, вынесут за три километра и похоронят не так, как ты хотел бы быть похоронен. Несколько зэков за дополнительную пайку или пачку чая будут долбить кайлом и ломами вечную мерзлоту, чтобы войти в нее если не по плечи, то хотя бы по пояс.

— Все, не могу. Не могу больше. Лекарства бы, лекарства... Хоть парацетамолу... Хоть солодки... Прополоскал бы солодкой, и отошла бы, отошла боль, сука... отошла бы...

— Лепила сказал, что лазарет заполнен, Серега... Терпеть надо...

— Врет, гад, лазарет у него завсегда пустует...

— А ты чем на воле пробавлялся, малец? — спрашивает сухой старческий голос из покрытого мраком угла тридцатилетнего худого мужика.

На мужике черный, мокрый треух, а на груди стоит колом «крупный вельвет» — фуфайка того же цвета с номером отряда и фамилией. Очки у мужика постоянно потеют — в воздухе висит взвесь из водяных пылинок, мужик их постоянно снимает и смущенно протирает полый выбившейся из-под ватных штанов куртки.

— Я кальмаров Гумбольдта классифицировал и изучал влияние изменения окраски самцов от психологического состояния самок, готовых к спариванию...

И пошло эхо по бараку.

— Вон оно ка-а-ак?

— А я вот, помню, тоже, с одной... Рыженькой...

— Нет, Ботаник, ты мне скажи. Не, ты ответь мне, может быть, я чего не догоняю. Я принимаю — ты мужик ученый, стекла носишь, но ответь мне на вопрос, который сводит меня с ума вот уже четыре года. Как можно, занимаясь кальмарами... этих...

— Гумбольдта.

— Да! Этими. Так вот, как можно изучать кальмаров... этих... да! — чтобы тебе выписали семнадцать лет?

«У-у-у-а-а-хха-а-а», — гудит за тонким стеклом, и оно дребезжит так часто, что перезвон превращается в тонкий непрерывный гул.

— ...посоветуй, Господи, как пережить и забыть...

Болью, страданиями, матом и стонами, перемешанными с молитвой, наполнен был воздух шестого барака, когда он пришел.

Он явился, когда его никто не ждал. Здесь вообще никогда никого не ждут. Время интересует лишь как движение часовых стрелок от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Их всегда торопят, молят впопых, чтобы они бежали быстрее, но, едва закончится ужин, происходит

обратное. Нет в бараке ни одного, кто не обращался бы к господу, бесу или просто к небу за подмогой в том, чтобы хоть кто-то из них остановил цоканье, отмеряющее секунды быстро приближающегося утра. Никто не хочет, чтобы оно наступало. Срок бесконечен, как этот лес, и день срока, минувший в Лету и приближающий свободу, никого не радует. Пусть лучше срок будет вечен, но не наступает утро.

Тех, у кого намечается «звонок», увозят за три месяца. Волоху Царева, того увезли вообще за полгода. А все потому, что вор. Настоящий, не наркоманами в Крестах коронованный за сотню тонн баксов, а сходняком одобренный и рекомендованный. Увезли за пять с половиной месяцев, чтобы за остаток срока зэков не взбудоражил и вместо себя никого поставить не сумел. Да только Царь дурак, что ли? Еще за восемь месяцев, прошлой весной, объявил, что сидеть за него Толян Бедовый будет. Тот и сидит. Зона не шелохнется. Вор честный, порядок знает и охламонов к нему приучает. Увели вертухаи Царя, а за него уже другой ходит. К чему такая спешка была, спрашивается? Воры — не администрация, они за положением заранее следят.

Он пришел за два месяца до смерти Коли Барона, спустя четыре после побега Варана и Гноба, и, казалось, ничего в этой жизни его не волновало и ни к чему не обязывало. Варана пристрелили прямо в тайге, Гноба порвали собаки, и его еле довели до лазарета. Три дня кровью харкал: видимо, не только собаки постарались, а на четвертый преставился. До этих двоих последний раз с «дачи» — филиала седьмой Красноярской колонии строгого режима — бежал Вова Краснокутский по прозвищу Черт. Ушел на тридцать километров, там его и достали. Кто-то из приезжих, один из многих, кто приезжает шишковать, отрапортовал участковому, что кор-

мил хлебом исхудалого парня в робе, участковый попался не промах, ответственный, отзвонился — и через два часа Черта взяли вертолетом недалеко от заимки с харчами и одеждой, до которой Вова не дошел ровно два километра. Было это в девяносто девятом. А в девяносто третьем Рома Пырьев — Порей, Семен Глазов — Глаз, да старик по кличке Конь, имя которого никто так и не узнал, сподобились на «рывок», да так же и погорели. Та же заимка, те же «шишкарки», такие же бдительные граждане. До девяносто третьего статистику никто не вел, просто знали, что бежать с «дачи» — пустые хлопоты. Обычно после этого привозят разодранным собаками, избитым до полусмерти конвоем, и через неделю-другую муки заканчиваются.

Народ на «даче» подобрался крепкий. Кстати, о «даче». Есть под Красноярском седьмая колония, «строгач», и на «даче» говорят, что зэки там как сыр в масле катаются. Никаких выходов в леденящее утро, и даже конкурсы самодеятельности проводятся. Осенью на «дачу» слушок прилетел по зоновскому «радио», что какой-то фраер по кличке Звонарь победил на конкурсе певцов и ему в Москве срок скостили на треть.

Врут, конечно. Ну, кто тебе срок срежет, если у тебя пятнашка непогашенная еще за прошлую судимость? Врут, ей-богу, врут...

«Если бы хлеба побольше, то был бы рай», — мелко-мелко так, на четверть бревна.

«Рай там, где нет «дачи».

Шестой барак от седьмой колонии — гиблое место. Он в двухстах верстах от ближайшей «запретки» «семерки», в глухом лесу, где тетерева по осень токуют так, что кругом идет голова, и мужикам в ночи снятся женщины, небо без «решки» и деньги в руках.

Сюда отправляют самых безнадежных, воспитать и

исправить которых, для чего, собственно, колонии и строились, просто невозможно. От пятнадцати и больше — самое место им здесь. «Пятнашка» — детский срок. На «даче» сидит Гарик Смоленцев, так он чуть-чуть до «особого» в Мордовии не дотянул. Одного трупа. Еще бы один — и все, навеки. Зелено-серая роба и вид из оконца на залив. Но Гарику повезло, на суде вышло, что из восьми доказанных прокуратурой трупов в суде прошли лишь три. Двадцать четыре года, и он уже два из них отбыл. Пристроить Гарика у ментов получилось, но они все равно в печали. Непонятно, на кого теперь пять оставшихся трупов вешать. А «пятнашка» — это детский срок. Как в угол поставили.

А хлеба, того, действительно, зэки не врут, не хватает. Зоны под Красноярском и без того голодают, а уж про шестой барак, «дачу» под Красноярском, вообще легенды ходят. Провизию завозят с опозданием, а когда привезут, выясняется, что она либо просроченная, либо контрафактная. Кто-то на воле, верно, из бывших, замаливает грехи и отправляет грузы на «дачу». Помощь страдающим. Однако помощь эта — масло подсолнечное, сливочное, консервы с давно истекшим сроком реализации. А откуда браткам на воле про то знать? Они другое знают — парень вышел из-под Красноярска и про людей не забывает — в своем бизнесе находит место и для братков, в зоне оставленных. Тем, у кого освобождение лет эдак через десять-двадцать.

А другие добрые люди продукты на «дачу» за копейки продают. Стоит бутылка подсолнечного сорок рублей, а они ее — за двадцать. Бизнесмену, бывшему зэку, убыток, но зато братва в шестом бараке сыта будет. А что товары употреблять нельзя — дело прошлое. На «даче» схавают все. Администрация эту помощь с радостью принимает, и по документам проводит — оплачено. И сумму —

пополам с доброхотом. А так бы пришлось испорченный груз на свалку везти. Там его бомжи бы сожрали, так лучше пусть — зэки. Да и в карман какая-никакая, а копейка.

«Хочу кусок мяса, сыра, колбасы, сала и побольше чая с сахаром».

На воле о сыре и не подумал бы, а тут нате — поумнел. Видать, очень хочет, раз не поленился ножом буквы резать. А с сахаром... Да, проблема с сахаром. Горе с ним. Точнее, нет ни проблемы, ни горя. Сахара нет. Родня пишет сквозь строки, замулеванные черным маркером цензуры, — «высылаем тебе, Николай, три килограмма сахара и чая восемь пачек». Три пачки чая, действительно, вот они. А где сахар? Нет сахара.

Года шли, а шестой барак так и не ссучился, на что так надеялась и уповала администрация. Голод этих зэков не берет, туберкулез не ломает, работа адская не гнет. Срослись они как-то все. И махнули рукой — пусть растут дальше, лишь бы о побеге не помышляли да голодные бунты, как в двухтысячном, не устраивали. Голодных усмирить, впрочем, не так уж трудно. Труднее из тайги возвращать. Проблемы не только у зэка, через «запретку» проскользнувшего, но и у охраны. Что тому по тайге ночью костылять, что тем. Вторым сложнее: искать нужно не только дорогу, но и того, кто ее высматривает впереди тебя. Но в последнее время «дача» притихла. Не до побегов. Молят небо, чтобы зима поскорее закончилась. Летом будет гнус, но он не грозит пневмонией и чахоткой. Так, просто неприятно. Главное, чтобы администрация и ее спонсоры с накомарниками не кинули, как прошлым летом.

«У меня родился сын. Он никогда сюда не попадет. Карамболь».

«Паря, не знаю, в каком году ты это писал, но хочется верить, что ты здесь не больше девяти месяцев».



«Ты не пиши, чего не знаешь, лох. Я Карамболя знаю, он на «дачу» попал, когда его жена на пятом месяце ходила».

Между каждой надписью, если верить датам — по два с лишним года.

Ууу-а-а-ахххрр...

Барак засыпает снегом, и работа завтра начнется от порога. Что-то, конечно, почистят кухонные шныри, что всегда при котлах, но разгрести придется не только проход к дверям, но и вокруг барака. Давно его построили, еще в пятидесятых, а не берет его ни время, ни мороз, ни дождь. Стоит, гад. И еще век простоит. Уже колючку пятикратно перематывали вокруг, а барак стоит.

Письма на «дачу» идут по два месяца. Жена отпишет, что ушла, а зэк целых шестьдесят дней смотрит на ее затершуюся фотокарточку, где они вдвоем на Кипре, и теплеет вокруг него от благодарности за то, что его ждут. А придет письмо — нет более проклятых дней, чем эти шестьдесят. Кому-то прибывают конверты с вымазанными маркером строками — замполитова работа. Поди догадайся, чего под этими жирными полосами написано было. Правда, есть одна хитрость. Если взять ватку, смоченную спиртом, да поджечь, да поднести снизу, краска маркера бледнеет, и надпись под ней проступает наружу. Но спирт тут — на вес бриллиантового карата. И замполит, зная, что он все равно есть, дуркует и веселится. Измажет черными полосами полписьма, а зэк жжет драгоценные капли да потом читает — «скучно без тебя, Саша, беда, как скучно, не знаю, куда от тоски деваться».

Смешно замполиту — во-первых, в бараке спирта меньше стало, — во-вторых, есть над чем зэку задуматься. Впрочем, думать ему никто и до этого не запрещал.

О том, что он придет, на «даче» знали все. За час до его прибытия в барак тема его прихода была единственная, которая обсуждалась. Кальмары Гумбольдта, уже давно высосанные за четыре года, ушли на задний план, и теперь больше всего зэков волновало, как поведет себя бывший полковник-летчик, прирезавший в Старосибирске троих людей.

Шестой барак — особая категория красноярской «семерки». Сюда попадают все, кому не место среди старожилов обычного «строгача». Раз в год, иногда раз в два года, ворота барака распахиваются, и внутрь входит новый изгой. Его ждет впереди пятнадцать лет красных закатов за замасленным окном и пятнадцать лет молитв, чтобы ни один из пяти с половиной тысяч рассветов не наступал.

Прибытие на «дачу» новенького — событие неординарное. Как поведет себя этот человек с воли, кем станет. Зоновское «радио» работает отлаженно, хоть и с некоторым опозданием. На «семерке» о прибытии полковника из Старосибирска знали еще за две недели, сюда же новости опаздывают, и лишь вчера вечером один из вертухаев шепнул Толяну Бедовому, что везут новенького.

Он вошел с рюкзаком под мышкой и тощим, свернутым матрасом. Следом зашел замполит, два из конвоя, и все четверо расположились у порога.

— К вам пополнение, — возвестил замполит, майор Кудашев. И, развернувшись к еще крепкому, среднего роста мужчине с серым лицом, пояснил: — Отсюда бежали шесть раз. Первый из них — в пятьдесят четвертом. Через месяц после пересечения запретной полосы у них ухудшалось здоровье, и они умирали. Не понимаю, почему. Полагаю, таежный воздух людям вреден. Особенно зэкам.

Инструктаж был предельно краток, из чего зэки сде-

ляли вывод, что основную прокачку прибывший прошел в здании администрации. И, судя по цвету его лица, прокачку добрую.

— В общем обустраивайся. Здесь трудно первые восемнадцать лет. Потом привыкаешь. На воле меняются марки машин, происходят войны, обесцениваются деньги, и, когда ты выйдешь, ты даже не будешь знать, сколько при себе их нужно иметь, чтобы на вокзале посетить платный туалет. А он после поезда понадобится сразу, — пообещал замполит. — Не знаю ни одного, кто бы не вышел отсюда без болезни почек и простаты.

Немного помявшись, майор убыл вместе с конвоем, а барак, сохраняя полное молчание, смотрел на мужика. Лет ему около сорока, так что замполит, судя по всему, кривил душой. Этому малому не дотянуть не только до платного туалета на вокзале, но и до самого вокзала. Как и до шестидесяти, его, ориентировочных, лет.

«Я выйду через восемь лет, Виктор З.».

«Не выйдешь». Без подписи.

Это был жуткий февраль. Он обещал уничтожить всех, кто на ногах держится уже с трудом. Такого февраля не видел даже Сема Омский. А ведь старик сидел на «даче» уже двадцать первый год.

Уа-а-а-хрр...

Трря-я-ясссь...

— Если шныри утром кедр от входа не оттащат, то выйдем на час позже, быть может, — шепнул кто-то в темном углу.

Но его мало кто слышал. Все смотрели в едва освещаемый проход, где с матрасом и рюкзаком стоял еще широкоплечий и еще крепкий мужчина.

— Здравствуйте, люди, — сказал он и поднял глаза.

Барак молчал. На памяти всех, кто в тот момент находился внутри, обращение к ним, как к ЛЮДЯМ, вызва-

ло у них легкое потрясение. Тот, кто прибывал и называл старожиллов «мужиками», был обречен быть им до конца срока. Работа, работа и работа — вот что отличает «мужика» в зоне от остальных категорий, учитываемых администрацией.

У этого же не было ни гонора, ни попыток убедить всех в том, что он свой, ни заискивающих слов и движений, умоляющих принять его таким, какой он есть, и не стараться его переделать.

Подойдя к указанным замполитом нарам, он сложил вещи и снова поднял карий взгляд к невидимым из-за тусклого света собеседникам.

— У меня немного сала есть. Чеснок. С этапа осталось. Еще есть чуток конфет. Правда... Правда, они слиплись. Есть пять сигарет, и это все, чем я могу с вами поделиться. Совсем забыл — два блистера парацетамола.

— Что такое блистер? — не выдержав такого знакомства, глухо пробубнил Колода, помощник Бедового.

— Это упаковка по десять таблеток. Жалко, в одной осталось семь.

«Суки здесь не парятся («парятся» — зачеркнуто) живут».

Еще один порыв ветра, и шнырь Куцик метнулся к выбитому стеклу затыкать пробойну одеялом.

---

---

## Часть I

### ГЛАВА 1

Он был как все. За тот месяц, что он прожил в бараке, никто так и не понял, кто поселился рядом с ними. Так себя не ведут ни суки, ни мужики, ни блатные. Ни с кем не разговаривал, в перебранки не вмешивался, ничего не выяснял, работал без энтузиазма, но и без ленцы. Тупо и угрюмо врезал в ствол кедра цепь «Тайги», водил широкими плечами, дожидался крика напарника с длинной палкой — «Бойся!» — и отходил в сторону. Смотрел на небо, перекуривал и медленно подходил к следующему дереву.

За тридцать дней, к середине марта, он потерял около десяти килограммов, и ни разу не попросил лекарства или сигарету. Была «Прима», он курил. Не было — молчал, смотрел на небо и закурил в отсутствие табака один лишь раз. Когда к нему подошел Толян Бедовый и протянул непечатую пачку, новенький вскрыл ее, вынул сигарету, а пачку вернул смотрящему. Тот пожал плечами, посмотрел с удивлением на того, кому ее дарил, сунул в карман и отошел.

Его звали Андреем Литуновским, и прозвище Летун прилипло к нему с первых минут. Дать прозвище — забота неплевая. Нужно и характер взять во внимание, и фамилию. С этим же все оказалось проще пареной репы. Летун — во-первых, с именем полный унисон, во-вто-

рых, экам не было известно ни единого случая, когда за три убийства человека успели бы осудить за три месяца. Смак, а не погоняло.

Самому ему, казалось, было все равно. Летун так Летун. Впрочем, что говорить о прозвище, если его не интересовали куда более важные вещи. Он еще ни у кого не спросил, как купить сигарет, как достать мыла, или почему по ночам кое-кого загоняют под нары и эти кое-кто, трясаясь под шконками от страшного холода и сырости, лежат под ними до утра. О сигаретах Летуну рассказал Саня Зебров. Нужно обратиться к писарю и сказать, что третью часть заработанных денег он, Летун, хочет перечислять на счет магазина для приобретения курева и предметов первой необходимости. Каждые десять копеек с рубля шли при этом писарю, но это был единственный способ иметь сигареты и не заниматься попрошайничеством. Попрошайничество здесь не в моде, единственное, что можно взять в долг, это лекарство. Но его потом нужно будет вернуть, и горе тому, кто не возвращал. Как-то сразу отпадал вопрос о тех, кто ночует, словно крыса, под нарами, да только он и не вставал перед Литуновским.

Впрочем, о крысах на «даче» разговор был особый. Когда год назад завелась одна, то есть Вова Момыкин не нашел в тумбочке новых шерстяных носков, в тот же вечер почему-то повесился Смык из Калуги, и Царь долго объяснял Хозяину — начальнику красноярской «дачи», что Смык неоднократно был замечен при высказывании мыслей вслух о добровольном уходе из жизни. Так что под нарами в бараке ночевали не крысы, а должники.

К началу лета Летун стал приходить в себя, взгляд его просветлел, и он впервые за долгие дни заговорил. С напарником, который помогал ему валить лес. Вообще и не с ним даже. Скорее с собой. Во время перекура Летун,

как обычно, отошел в сторону, подождал, пока осядет поднятое облако снега от упавшего кедра, и снова поднял глаза на небо.

— Что ты туда постоянно смотришь? — не выдержал Зебра. — Правды у бога ищешь? Нету ее, правды! И бога нет! Был бы, он еще вчера тебе аспирину сбросил!..

— Небо, — сказал Летун. — Небо.

— Что небо? — растерялся Зебра.

Летун посмотрел на напарника и отошел в сторону. Зебра так и не понял, что хотел сказать бывший полковник. Терзать человека расспросами на зоне не принято, но Зебра, улучив момент, а это произошло только через три дня, когда терпение Саньки лопнуло, вновь вернулся к разговору.

— Что — небо?

Летун не удивился вопросу, хотя времени прошло порядочно, чтобы тему как следует подзабыть. Но он снова ничего не сказал и, забросив на плечо «Тайгу», направился к очередному дереву. Зэки терпеливы, на «даче» срок идет не на часы, а на месяцы. И Зебра решил ждать. Как-никак он напарник, а человек еще не освоился. Придет час, когда тот сам решит заговорить с ним.

На обед они ели прелую капусту, которая почему-то называлась свежей и тушеной, закусывали хлебом и пили из эмалированных кружек чай. Он отдавал ковылем, был почти бесцветен, но в меню именовался «индийским с сахаром». Так продолжалось изо дня в день, полковник молчал, смотрел то в небо, то сквозь сплошную стену кедровой делянки и словно ждал момента, чтобы сказать что-то, чего здесь еще не слышали. Однако первым заговорил с Летуном не Зебра, а Толян Бедовый. Время шло, новичок себя не проявлял ни с лучшей, ни с худшей стороны, начинало казаться, что это будет продолжаться вечно, и кто не мог мириться с этим ни

при каких обстоятельствах, так это смотрящий за баракком. Толян был тут на правах вора, смотрящим за колонией, и молчаливость спокойного зэка стала вызывать у него бессонницу.

В конце марта, когда на делянке появились первые ручьи и запах кедров стал навязчив, к курившему после обеда Летуну подошел Колода — помощник Бедового.

— А ты не слишком разговорчив. — И, догадавшись, что такая постановка вопроса и не требует ответа, поспешил объяснить причину своего прихода. — Подойди к Бедовому, у него к тебе пара вопросов.

Летун встал, размял подошвой кирзача коротенький окурок и направился к месту постоянного пребывания Бедового во время рабочего дня. К одному из пней свежеспиленного кедра. На каждый день у Бедового был свой пень, и к концу пятого года пребывания на «даче» он посидел на полутора тысячах.

— Я все хочу спросить тебя, — предложив Летуну ствол дерева в качестве стула, начал Толян. — Это правда, что ты прибил троих?

Ответа ему пришлось ждать долго, поэтому он вопрос переиначил:

— Зачем мужику приличного вида, не киллеру и не народному мстителю, убивать троих фраеров?

— Перед глазами мельтешили.

Бедовый поморщился. Происходило неприятное, контроль за разговором уходил в другую сторону.

— Это было личное или, как принято, по пьяни?

Одно дело — расспрашивает такой же зэк, другое — когда интересуется смотрящий. Разница ощутимая, но Толян этим правом никогда не злоупотреблял. Ему просто не давала покоя мысль о том, что сидящего перед ним человека устраивало все, что ему предлагала жизнь. Сейчас она предлагала ему муки и бесполезный, с точки



зрения его, Толяна, труд, но Летун еще ни разу ничем не возмутился и не заявил, что он хоть и в зоне, но все-таки человек. Обычно о том, что они люди, убийцы, насильники и мародеры вспоминают именно здесь. Этот — нет.

— Здесь все, кроме меня, считают, что их осудили несправедливо. Несправедливо хотя бы по сроку. Я не настаиваю, но ответ твой по этому поводу услышать все-таки хочется.

— Мне уже неважно это, — Летун был чем-то, видимо, расстроен. Именно сейчас, когда с ним об этом заговорили. — Я здесь, и это главное. Остается думать, как вновь стать свободным.

У Бедового дрогнула бровь.

— Свободным через восемнадцать лет? Или иначе?

— Мне уже неважно и это.

Толян пожевал губу. Зэк ему нравился, но он не мог понять, почему. На революционера не похож, на застенчивого ублюдка тоже, не похож и на суку, однако в глазах этого Летуна такое равнодушие, что остается подозревать, что он уже нашел веревку, а теперь мучается от невозможности достать кусок мыла. Страдать по нему здесь никто не будет при любом раскладе, однако жаль, если уйдет хороший человек.

— Давай поговорим еще через месяц, — решил Бедовый и оставил Летуна в покое.

Если бы в этот момент Бедового спросить, такая ли острая необходимость была в получении этой информации, и потребовать искреннего ответа, он признался бы, что необходимости не было. Всю подноготную, которая крылась в рамках уголовного дела любого из осужденных шестого барака, он знал наизусть. Для этого есть Хозяин, отношения с которым были налажены еще Царем, были кумовья, которые поясняли непонятное, и

зона жила, управляемая администрацией, но по правилам Бедового. Смотрящий никогда не пойдет на поводу у начальника колонии, но всегда найдет компромиссное решение, когда всем удобно и цели обеих сторон реализуются, не пересекаясь. Бунта на зоне не хотел Хозяин, пренебрежительного отношения к себе не мог позволить Бедовый. Стороны понимали это, как и в любой колонии, и всегда находили компромисс. Платой за терпимое отношение друг к другу была вялая реакция со стороны Толяна, когда администрации хотелось шерстить барак и искать виновных не только там, где они были, но и там, где их не могло быть по всем определениям — на то администрация и существует, и малая толика информации, которую получал Бедовый из уст Хозяина. Сотрудничеством с «красными» назвать это было нельзя, это была политика, установленная годами. Однако никто не просил снисходительного отношения к себе и не предъявлял друг к другу претензии, когда зэки голодали и умирали от невыносимых условий содержания. Какие компромиссы бы ни существовали на «даче», они неминуемо приводили к ненависти одних к другим и издевательствам вторых над первыми.

История зэка по прозвищу Летун была известна Бедовому с первого дня пребывания того в зоне. Из материалов, имевшихся у Хозяина, следовало, что Литуновский, употребив изрядное количество спиртного, пошел встречать жену и стал свидетелем недружелюбного отношения к ней троих мужчин того возраста, когда армия уже за плечами, а праздник все продолжается. Получив отпор, трое молодых людей пообещали сделать мужу приглянувшейся им дамочки больно, и удалились. В качестве профилактики последующих событий и предупреждения реализации обещаний Литуновский вернулся домой, вооружился каким-то огнестрелом и пошел

искать обидчиков. Нашел. И через полчаса после возвращения домой был задержан операми местного РОВД. Были свидетели, были протоколы, были понятые и суд.

Все бы ничего, статья у Летуна не позорная, и все указывает на то, что на «даче» появился человек, которого следовало уважать, однако Бедовый, пользующийся заслуженным авторитетом среди равных себе, никак не мог взять в толк, зачем интеллигентному на вид мужчине, у которого интеллект прямо-таки отсвечивает от лица, понадобилось идти убивать людей, не успевших его жену даже оскорбить. Бедовый решил выждать.

— А он признал свою вину на суде? — спросил мимоходом Толян у Хозяина.

— Нет, как мне известно, — пожал плечами тот. — Мне из «семерки» поступают не все сведения. Там, — он ткнул пальцем в крышу офицерского общежития, подразумеваемая, по всей видимости, начальство ИТК-7, — полагают, что много мне знать не нужно. А знаешь, зэк, я с ними согласен. Сколько вас здесь, незаконно обиженных? Пятьдесят? Сейчас уже пятьдесят один. Нам, как и вам, всегда кажется, что знать меньше положенного гораздо безопаснее, как если бы знать больше, чем нужно.

Однако Бедовый помнил, что в разговоре эти слова Летун в какой-то части опроверг. Он не стал утверждать, что невиновен. «Набивает себе цену и копит авторитет на восемнадцать грядущих лет?» — думалось смотрящему. Ответа не поступало, время шло. Как бы то ни было, смириться с тем, что во вверенном ему братвой бараке проживает человек с мутной судьбой, Бедовый не мог.

К середине апреля уже никто не звал зэка ни Литунским, ни Андреем. Летун. Здесь не было имен, они выветривались не только из барака, но и из памяти самих владельцев за те самые три месяца, которые новенький и пробыл в зоне. Дождливая весна, о которой моли-

ли зимой, обещала новые испытания — мошкару. Так бывает всегда: кажется, нет ничего страшнее холода, и все будет легче, когда придет тепло. Но, едва под «анти-москитки» начинает пробираться гнус, лезть в ноздри, рот и глаза, на делянках все чаще вспоминается зима и ее спасительная сила, убивающая этих летающих и кровососущих тварей.

Летом к «даче» стали все чаще прибывать подводы из окрестных деревень. Сдать в этом диком уголке природы молоко, яйца, сметану, творог и получить за них реальные деньги можно было только здесь, на «даче». Подросший молодняк весной переставал брать вымя и тянулся к пробивающейся сквозь еще холодную землю жидкой траве. Теперь молоко у деревенских было в избытке, и его можно было продавать.

И подводы, груженные плодами натурального хозяйства, потянулись из ближайшей деревни. Называлась она Кремьянка, жителей в ней насчитывалось не более двухсот, и пробавлялись они тем, что летом собирали ягоды и шишки, а зимой продавали их приезжим из Красноярска за бесценок. Как правило, к «филиалу» седьмой красноярской колонии, именуемой среди эзков «дачей», а среди жителей окрестных деревень «адам», приезжал кто-то один и привозил на своей лошади товар всех. Возвращаясь, отчитывался перед селянами по списку, по списку же и раздавал деньги. Деревенек таких вокруг «дачи» было несколько, одни говорили — шесть, другие — пять, но ближе всех располагалась Кремьянка. На «даче» всех знали в лицо и поименно, а иначе и не могло быть. Что там, что здесь люди жили долгое время и убывать в ближайшее время явно не собирались.

Троих заключенных, в том числе и Летуна, отправили на разгрузку очередной подводы, и старик с куцей бородашкой, заметив их приближение с конвоем и недоволь-

ный таким положением вещей, погрозил зэкам залоснившимся кнутом:

— Смотрите мне, ироды!.. Штоб ни одно яйцо не пропало. В прошлом годе два десятка пропало, даже скорлупы не нашлось! И килограмм творогу исчез. Знаю я вас...

Яйца, конечно, все равно пропали. Как и небольшое количество творога. За такими событиями не могли усмотреть ни двое парнишек с буквами «ВВ» на погонах, ни бдительная немецкая овчарка. Двое носили продукты в ледник, замполит распорядился внутри, а Летун подавал груз с телеги. Рядом с ним стоял вооруженный кнутом дед и сверял список с убывающим товаром. Все как обычно, как каждую весну.

— А что, дедушка, — тихо, как имел обыкновение разговаривать, поинтересовался Летун. — Пенсию у вас в деревне платят?

— Платят, — поморщился недовольный, что его перебили, старик. — Лучше бы не платили.

— Что так?

— А на шестьсот рублей прожить можно?

— Шестьсот? — улыбнулся Летун. — Мы на сто пятьдесят в месяц живем.

— То вы, а то — мы, — резонно пояснил дед. — Разницу чуешь? Ты аккуратней подавай, аккуратней. Это не кедры, а яйца.

— А как же вы живете на шестьсот рублей? — снова помешал старику вести подсчеты Летун. — Хозяйство разве можно содержать на такие деньги?

— Да ты меня специально со счету сбиваешь никак? — возмутился курьер. — Я все равно с ледником сверюсь.

— Не вопрос, — согласился Литуновский. — А детки разве не помогают?

— Ты, зэк, новенький, как я догадываюсь, — осенило

старика. — Детки все при нас. Куды им отсюда ехать? Кому оне в городе нужны?

Немного смирившись с тем, что его не обманывают, а просто разговаривают, как с человеком, сельчанин присел на грядку телеги и прокашлялся. Угостил Летуна папиросой, прикурил сам и, пустив в сторону дымок, признался:

— Думаешь, нам легко? У меня трое сынов, и дочка на сносях. Мотоцикл сломался, а где мне пятьсот рублей на ремонт взять? Ладно, жиры и мясо в доме есть, но мыло надо? Сахар надо? А внуков обувать во что? Просил у вашего кирзы старой, не дает. А мне вас жалко, ей-богу, жалко. Убивцы вы, конечно, но моя бы воля, упростил бы я жисть вам.

— Это каким же образом?

Андрей затынулся папиросой, и голова у него закружилась, как от стакана водки. Три месяца назад оказавшись здесь крепким человеком, в свои сорок лет он и не думал о том, что после разгрузки половины телеги с грузом у него иссякнут силы и он почувствует слабость. Это состояние немощности усиливалось с каждым днем, и он начал чувствовать приход той болезни тела и духа, которая здесь называется синдромом «дачи». Это состояние жуткой депрессии от понимания того, что ты не прожил тут и двадцатой части положенного срока, но начинаешь задумываться, как не загнуться следующей зимой. Андрей думал о зиме, потому что не знал, как тяжело на «даче» лето. Полная депрессия овладеет его разумом тогда, когда он поймет истину, доходящую до каждого новенького, прожившего здесь год. Лето на «даче» не лучше, чем зима. А весна не лучше осени. Время года меняется, а мысли о том, как сохранить силы и выжить, остаются прежними. И каждый новый год уверяет в том, что никто отсюда уже не уйдет. За три последних года во

всяком случае ушло всего шестеро. И сейчас они лежат на зоновском кладбище под памятником из штакетника, на котором значатся лишь цифры. Здесь нет фамилий. Пока живешь, имеешь кличку. Ушел — получишь цифры.

— Каким образом? — Дед задумался. — Ну, лес, ведь его весь не свалить, сынок. Так зачем вас так мучить? Дорогу строят — кедры трактором валят. Потому что быстрее и дешевле. Значит, вас валить заставляют, чтобы не скучали. Скучному зэку мысли в голову бедовые лезут, да силы у его на свежем воздухе крепчают. А ведь вам, паря, сроки такие не для того дают, чтобы вы здоровье копили. Тебе, к примеру, сколько дали?

Литуновский признался, что восемнадцать. Услышав число, старик обмяк и сразу постарел лицом. Кнут в его руке уже не играл, а шевелился.

— Вот оно, значица, как... А за что, ежели не секрет?

— За убийство.

— Вот оно как, значица... А сейчас-то тебе, паря, сколько?

— Сорок один.

Старик затыкнулся папиросой. Подсчитал уже давно, но произносить вслух стеснялся. Деревенские, они учтивые. Пусть даже зэка, но не обидят. Чувствовалось, что старик жалеет о своем любопытстве.

— Пятьдесят девять мне будет, дед, — ответил за него Андрей. Тихо ответил, спокойно. Но столько воя и горя было в этом спокойствии, что старик покопался в телеге и вынул какой-то пакет.

— Поешь творожку, — он развернул сверток и протянул Андрею. — Это мой, не отчетный. В дорогу брал.

Зачерпнув рукой белоснежного месива, Литуновский отправил его в рот и зажмурил от удовольствия глаза. Творог на свободе он не ел, особой любви к нему не испытывал, но сейчас, когда почувствовал на небе кислый

вкус сладкой свободы, вдруг перестал жевать и закрыл рукой глаза.

— Да ты не переживай, он действительно мой. Ничего не стоит.

Слез не было, Литуновский не мог их себе позволить, однако наружу могла выскользнуть и та влага, что накопилась за доли секунды независимо от его желания. Развернув вверх лицо, он посмотрел на медленно плывущее облако. Оно было похоже на плюшевого белого мишку, которого он купил сыну на пятый день рождения.

— Ты жуй, жуй, — по-доброму, не понимая, посоветовал старик, видя, как Летун сидит с полным ртом и смотрит в небо. — Я еще дам.

Творог во рту превратился в раскисшую массу. Ее невозможно было ни сглотнуть сжавшимся от тоски горлом, ни прожевать. Старик, сообразив, что происходит неладное, быстро вынул из сидорка закупоренную газетной тычкой бутылку молока и протянул зэку.

— Спасибо, — едва отдышавшись, поблагодарил Андрей и вернул бутылку. — Спасибо...

— Вот еще яйца, вот хлеб. Пользуй.

Но Литуновский, силой заставив увести глаза в сторону, отказался:

— Тебе обратно ехать, побереги.

Двое заключенных носили товар, и по их возбужденным лицам было понятно — носят не зря. В такие минуты внимание охранников и подсчеты замполита в леднике бессильны.

— Лодку починить надо, — продолжал сетовать старик, — а на что купить смолы? Опять же, сети прохудились. Мы со старухой подсчитали, чтобы все дыры в хозяйстве заткнуть, не менее двух тысяч трехсот рублей надо. Ну, выручу я сейчас рублей триста, ладно. Рыбы кровососам городским сдам рублей на двести. А где ос-



тальные взять? До шишек еще полгода, а за мехом скорняги лишь в декабре придут, после линьки. Как жить? Ох, горе...

— Да, трудно вам, — пробормотал Андрей. — Вам бы две с половиной тысячи. Решение всех вопросов...

Старик посмотрел на Летуна взглядом, полным возмущения.

— Две с половиной... Да полторы бы! Я шифер бы старый использовал на дому, и делов-то. А полторы — это в самый раз.

Над их головами стремительно пролетела какая-то серая птичка и, чиркнув воздух коротким пением, скрылась в лесу.

— Скороспел, — поспешил объяснить дед. — Значит, разлетались, лето дождливое будет. Ох, горе вам, ребята... После такой зимы такое лето...

— Ну, что там? — Из ледника показался порядком замерзший замполит.

Конвоир, тот, что с собакой, крикнул, что разгрузка завершена, и спросил, уводить ли «этих троих». Литуновский с первого дня отметил про себя одну особенность — их никогда не называли людьми. Лишь числом, в зависимости от того, какое количество человек имелось в виду. Если один — номер на телогрейке. Если несколько, то как сейчас — «этих троих».

— Ты вот что, парень, — засуетился сельчанин. — Я через две недели снова приеду, товар привезу, так я тебя на разгрузку попрошу. Начальник зоны мне разрешит, так что посидим, я захвачу для тебя поесть чего, поговорим, лады?

— Лады, — Андрей соскочил с телеги и протянул старику руку. — Спасибо за молоко. Ну, и за творог, конечно.

Если бы не этот творог, Андрей еще не скоро бы по-